

## «НЕ ТО ЧТОБ Я ТЮТЧЕВА ТАК УЖ НЕ ЛЮБИЛ...» (ИОСИФ БРОДСКИЙ О ТЮТЧЕВЕ)

**Евгений Костин**

Вильнюсский университет  
Кафедра русской филологии

Не скрою, что желание совместить, сопоставить эти два имени великих русских поэтов, которые с большой долей историко-литературной и, собственно, культурной обоснованности могут и должны быть соединены и осмыслены вместе, давно было в моих планах, ибо это как-то и понятно просвещенному гуманистию. Что, кстати, и делается во многих работах о русском поэте XX века. Особый склад поэтической метафизики, растворение в лирике философского начала, онтологичность в восприятии и описании бытия и т.д. – все это позволяет уверенно говорить о следовании Бродским тютчевской «традиции», выражаясь старомодно с точки зрения современной литературной теории.

Однако стоит обратиться к одному только лишь источнику прямых суждений Бродского о Тютчеве, как возникает нечто вроде культурологического столбняка. В данных заметках я буду опираться на содержательные *Диалоги* Соломона Волкова с Бродским<sup>1</sup>. Первое же упо-

минание в разговоре о русской поэзии имени Тютчева вызывает резчайшую реакцию нашего современника: «Не то чтоб я Тютчева так уж не любил. Но, конечно, Батюшков мне куда приятнее. Тютчев, бесспорно, фигура чрезвычайно значительная. Но при всех этих разговорах о его метафоричности и т.п. как-то упускается, что большего верно-подданного отечественная словесность не рождала. Холуйи наши, времен Иосифа Виссарионовича Сталина, по сравнению с Тютчевым сопляки: не только талантом, но прежде всего подлинностью чувств. Тютчев имперские сапоги не просто целовал – он их лобзал... Что до меня, я без – не скажу, отвращения – изумления второй том сочинений Тютчева читать не могу. С одной стороны, казалось бы, колесница мироздания в святилище небес катится, а с другой – эти его, пользуясь выражением Вяземского, “шинельные оды”. Скоро его, помяните мои слова, эта “державная сволочь” в России на щит подымет...» (51). Надо прямо сказать, что по искренности чувства это звучит достаточно сильно...

<sup>1</sup> Цитаты даются с указанием страницы по изданию: Соломон Волков, *Диалоги с Иосифом Бродским*, Москва: Изд-во «Независимая Газета», 2000.

Дальнейший поворот в рассуждениях о Тютчеве у Бродского связан с тем обстоятельством, что многие великие русские авторы жили и творили на Западе, за пределами России, о чем сейчас «мы благополучно забыли». Вот и Тютчев в этом ряду у Бродского получает как бы некоторое оправдание. Правда, в дальнейшем он опять возвращается к его имени через разговор об Анне Ахматовой, которая, по его мнению, почти не говорила о Тютчеве, за исключением одного случая: «Припоминаю, – говорит Бродский, – что о Тютчеве шел разговор в связи с выходом маленького томика его стихов с предисловием Берковского. Что ж, Тютчев, при всем расположении к нему, поэт не такой уж и замечательный... Мы повторяем: Тютчев, Тютчев, а на самом деле действительно хороших стихотворений набирается у него десять или двадцать (что уже, конечно же, много). В остальном, более верноподданного автора у государя никогда не было...» (230).

Интонация напоминает уничижительную критику Толстым Шекспира, близкую по тону и по существу. Как писал Толстой, ничто не годно у Шекспира – ни герои, ни идеи, ни сюжеты. Но время от времени великий старец замечал: вот, правда, прелестная сценка вышла у Шекспира, и монолог очень хорош... Эта толстовская рецепция осмыслена в русской культуре.

Что-то иное, не художественное, заставляет Бродского и Толстого так резко и безапелляционно высказываться о своих великих предшественниках. Это тем более удивительно, что в *Диалогах* мы встречаемся почти с полной реабилитацией Тютчева Бродским. Вот он рассуждает о

любовных циклах в русской поэзии, в частности об ахматовском: «Это замечательные стихи (цикл “Шиповник цветет”. – Е.К.). В них тоже есть это – Ромео и Джульетта в исполнении особ царствующего дома. Хотя, конечно, это скорее “Дидона и Эней”, чем “Ромео и Джульетта”. По своему трагизму цикл этот в русской поэзии равных не имеет. Разве что “денисьевский” цикл Тютчева» (248).

Однако вернемся к ключевому «обвинению» Бродского – к «шинельности» поэзии Тютчева. Достаточно бросить беглый взгляд на томик тютчевских стихов, чтобы усомниться в правоте нобелевского лауреата. Вспомним хотя бы «Из Микеланджело», «На смерть Николая I» или:

Взойдешь ли ты когда, Свобода,  
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит,  
И сон разгонит и туманы...  
Но старые, гнилые раны,  
Рубцы насилий и обид,  
Растрепанье душ и пустота.  
Что гложет ум и в сердце ноет,  
Кто их излечит, кто прикроет?..

Ты, риза чистая Христа...  
(1857 год)

Думается, что нелюбезные суждения Бродского объясняются все-таки не «шинельностью» творчества Тютчева.

Тютчев, интеллектуально взросший на немецкой философии и разработанном способе суждения о бытии, творчески столкнулся с эпистемологической системой русского языка, которая, за исключением разве что языка Пушкина, не была способна (или была только беременна

русским философствованием, разродившимся в итоге Достоевским и Толстым) к воссозданию метафизических сущностей в прямом виде.

Тютчеву стоит у истоков русского поэтического философского языка. Российская художественная философия, которая в итоге и оказалась основным способом философствования в русской культуре, рождалась на пересечении метафизики и православия. Собственно, самая суть определенной нами проблемы «философской неустрахи» (именно философской, а не идеологической, как кажется на первый взгляд) Тютчева и Бродского заключается в формулировании и понимании своеобразия проявлений восточнохристианского дискурса в русской культуре XIX–XX веков.

Сошлюсь на мнение одного из крупнейших (и редчайших в разработке данной проблемы) современных мыслителей – С. Хоружего, который замечал, что язык теоретического мышления, язык понятий не был востребован русской культурой из восточнохристианского дискурса, хотя и имелся там, будучи развит в патристическом и паламитском богословии. Это привело к тому, что «пути русского православия и русского просвещения разошлись»; «язык же теоретического мышления брался из другого источника, из западной интеллектуальной традиции... В итоге конституирование философского сознания (русского. – *Е.К.*) определялось во взаимодействии трех главных формирующих факторов: парадигма обожания – парадигма освящения – западный понятийно-идейный дискурс...»<sup>2</sup>. Это стало,

---

<sup>2</sup> С. Хоружий, *О СТАРОМ и НОВОМЪ*, СПб., 2000, 12–13.

как остроумно заметил исследователь, «родовой травмой» русской эпистемологии.

Востоочнохристианский дискурс обладает меньшей отвлеченностью, абстрактностью, у него не так развит логико-методологический аппарат, он больше связан с вещественностью, эмоцией, чувством. Внутри себя он ориентирован на коллективное сознание, на «другого как себя».

Бродский, как и ряд других выдающихся русских мыслителей, представляет собой блестящий пример проникновения западного дискурса в русский: перестраивая, меняя «чужое», Бродский в то же самое время остается в лоне основных западноевропейских эпистемологических границ. Разные группы крови культуры находятся в едином теле мировой цивилизации, и их несовместимость, как бы биологическая, не отменяет безусловного и бессмертного единства в мета-пространстве общечеловеческого духовного поиска.

Стоит в данном контексте сослаться на суждение другого великого деятеля русской культуры – Льва Карсавина, во многом пытавшегося разрешить проблему противостояния и противодействия России и Запада. Карсавин решительно отметал предположение, что именно в европеизации может быть актуализирована русская идея и что развитие именно в этом направлении являет собой будущность России и русского. Не может русская идея удобрять собой европейскую «культурную ниву». Карсавин более чем категоричен: «... не в «европейских» тенденциях русской мысли, общественности и государственности надо искать эту идею»<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Л. Карсавин, «Восток, Запад и русская идея», *Русская идея*, Москва, 1992, 319.

Основанием русской мысли может стать, по Карсавину, исключительно православие. Он писал: «Православной мысли в высокой степени присуща интуиция всеединства... а интуиция всеединства непримирима с типичным для Запада механистическим истолкованием мира»<sup>4</sup>.

Определенный интеллектуальный урок, который мы можем вынести из того неприятия Тютчева Бродским, о котором было сказано выше, в высшей степени ориентирован на современность. Нет

---

<sup>4</sup> Там же.

неразрешаемых вопросов в сфере культуры, в сфере духа. Но понимание и диалог с «иным» начинается тогда, когда ты в полной мере осваиваешь содержание и специфику «своего». Сохранение «своего» в исторической ситуации рубежа двух веков для русской идеи в странах Балтии, шире – в Европе, гарантировано только с учетом этого глубинного погружения в «свое» – в культуру, национальную психологию, религиозное сознание. Только тогда мы будем интересны и уважаемы для всех и всеми, тем более что немного «ввысь», и здесь все – общечеловеческое, всеобщее, то есть «свое».

**“NESAKAU, KAD TIUTČEVO VISAI NEMĖGSTU...”  
(JOSIFAS BRODSKIS APIE TIUTČEVA)**

**Jevgenijus Kostinas**

Santrauka

Šios pastabos – tai dar viena pastanga atskleisti Josifo Brodskio F. Tiutčevo kūrybos suvokimo ypatumus.

Получено: 2004, сентябрь

Принято: 2004, сентябрь

*Адрес автора:*  
Вильнюсский университет  
Кафедра русской филологии  
ул. Университето 5  
01513 Вильнюс  
E-mail: jevgenij.kostin@flf.vu.lt